

## Историческая наука: от «истинностного» к полезному знанию

По моему мнению, опыт исторической науки подтверждает положения, высказанные А. Назаретяном. Для историка очевидно, что идеал истинностного знания в науке тесно связан с теологической традицией, приписывавшей истинность только знаниям о Боге, который сам и есть Истина. Перенесение в эпоху Просвещения ценностных ориентаций науки с Бога на природу способствовало консервации этой архаичной традиции еще на два столетия. Но это коснулось в основном естествознания, а не истории. Сложные отношения между представлениями о Боге и человеке помогли исторической науке раньше освободиться от мифологемы истинности. Я хотел бы особенно подчеркнуть *продуктивность* последствий этого шага. Развитие истории как науки оказалось тесно связанным с преодолением представлений о смысле истории и объективном характере исторического знания.

Еще в период средневековья история, скорее, примыкала к области «полезного» (связанного с решением конкретных жизненных задач, но лишеного «вечного» смысла), а не «истинного» знания. Прагматически ориентированный текст хроники лишь формально связывался с последним через представления о сотворении мира, грехопадении и Страшном Суде. Это помогло уже в эпоху Возрождения выделить «полезное» знание об истории в самостоятельную область, отчасти противопоставив его идеалу исторической «истины», смысла истории. Историки Возрождения — Н. Макиавелли, Ф. Гвиччардини и др. — смогли найти воплощение этой истины, как они ее понимали (т. е. идей гуманности и гражданского порядка), только в истории античности. В истории современности же идеалы добродетели и счастья (*fortuna*) никак не хотели совпадать. Это последнее, «неистинное», но весьма полезное знание не было ими отброшено, но было оформлено Макиавелли в трактате «Государь», ставшем краеугольным камнем политологии. А ведь эта книга была написана в 1532 году, за сотни лет до того, как естествоиспытатели перестали вдохновляться идеями о божественной гармонии мира, с которой они связывали свои представления об истине!

Наиболее явно разрыв «истинного» и «полезного» знания в исторической науке проявился в немецкой историографии первой половины XIX века в трудах Ф. Шлоссера, К. фон Роттека, а затем ученых малогерманской школы: И. Дройзена, Г. Зибеля, Т. Моммзена, Г. Гервинуса и др. Романтическая критика сциентизма Просвещения и позитивизма ориентировала этих историков не на поиски «объективной истины» о прошлом и «смысла истории», а на раскрытие связи прошлого с настоящим, на акцентирование роли исторических знаний в становлении национальной и личной идентичности человека. Претензии своих противников на познание объективной (а тем более абсолютной) истины об истории они характеризовали как «философскую самоуверенность». Отмечу, что это сомнение в объективной истинности своих собственных исторических изысканий не удерживало историков от создания масштабных концепций исторического процесса и не препятствовало их влиянию на общество. Шлоссер и фон Роттек рассматривались современниками как «духовные учителя германской нации».

Характерно, что именно внутри «антиистинностной» тенденции в немецкой историографии XIX века шел бурный процесс развития методологии истории. В ее рамках закладывались основы современной исторической науки. Если Шлоссер и фон Роттек довольно невнимательно относились к критике источников и с небрежностью фиксировали свои исходные познавательные предпосылки, то «малогерманцы», прежде всего Б. Нибур и Дройзен, стали основателями методологии научного историзма,

источниковедения и теории исторического познания. При этом они по-прежнему критиковали «фанатизм объективности» и противопоставляли «объективность» правдивости историка. В последнем понятии учитывались субъективный характер исторического познания, его связь с личными идеалами и убеждениями ученого, воздействия которых не результат исследования принципиально невозможно избежать. Дройзен подчеркивал в связи с этим, что найти объективную истину об истории так же невозможно, как и поймать радугу после дождя. Г. Гервинус (ученик Шлоссера) сформулировал этот подход как методологический принцип. «Всякая объективность, добытая в ущерб субъективности,— писал он,— ничего не стоит в наших глазах»<sup>1</sup>.

Идеал истины продолжал отчасти воздействовать на историков-малогерманцев, но под истиной они подразумевали не объективный смысл истории, как Г. Гегель и К. Маркс, а связь и движение в истории, в которые вовлечены не только исторические явления, но и сам историк. Это придает исторической истине текучесть и изменчивость, мешает кумулятивному накоплению исторического знания, сравнению исторических теорий по принципу «наибольшей истинности». В сущности, это был идеал «полезного», а не «истинного» знания в его секуляризованной форме.

В XX веке я бы отметил два этапа распространения этой точки зрения в исторической науке. Они связаны, соответственно, с крахом надежд на познание истины об истории в целом — и истины об «образах истории», историческом мировоззрении прошедших эпох, о «смысле истории» и «смыслах истории». Эти процессы можно соотнести с кризисом позитивизма и неопозитивизма.

На рубеже XX века взгляды немецких историков как выражение «исторического релятивизма» подверглись критике. Но уже вскоре им было найдено методологическое оправдание. Социолог Г. Зиммель показал, что прошлое — это тотальность, состоящая из бесконечного числа элементов и связей между ними. Непосредственно освоить эту бесконечность человеческое познание не может. Поэтому историк должен активно формировать объект познания в соответствии со своими познавательными установками, рассматривая историю в определенной, свойственной только ему перспективе. Эта перспектива определяет «световой конус», в который попадают факты прошлого, их анализируемые срезы и проекции, и в конечном счете формирует образ истории, обладающий лишь относительной истинностью и лишь частично верифицируемый.

Это был эйнштейновский прорыв, историческая «теория относительности». Она утверждала, что тесная связь объективности и субъективности в историческом знании — не прихоть данного историка, а одно из неизбежных условий исторического познания. Непреднамеренный релятивизм (или, как его называл К. Мангейм, «реляционизм») знаний об истории получил признанный научный статус. Его стали соотносить с независимым от воли человека пределом, налагаемым эпохой на его мысли, чувства и мечты. Историк и философ В. Дильтей называл этот предел «жизненным горизонтом».

Я бы отметил попутно, что специфика жизненного горизонта отечественных историков такова, что, к сожалению, сведения об этой революции в историческом познании до них дошли лишь отчасти, и многие из них по-прежнему считают, что для обнаружения исторической истины достаточно «открыть» новый исторический факт или даже новую, более верную датировку. При этом они упускают из виду, что данную систему фактов делают исторически значимой наличный культурный и социально-политический контексты. Изменение последних приведет к неизбежной утрате этими фактами статуса исторических. Мы уже видели это в 1991 году на примере «истории КПСС». Но даже дата смерти Наполеона перестанет быть историческим фактом при перемещении культурного центра планеты, скажем, в Африку. И эта дата автоматически превращается в частное дело семьи, в факт биографии отдельного человека. Подобного рода переходы сами стали предметом исторического исследования. Немецкий историк Р. Козеллек раскрывает относительность исторической истины, прослеживая смену одной истины такого рода другой<sup>2</sup>.

Но вернемся к нашей основной теме. Зиммель, и только впоследствии К. Гедель, показали историкам, что искать вечный смысл истории бесполезно, что такового просто не существует. Но оставалась неисследованной область временных, преходящих, субъективных смыслов, придаваемых истории людьми в различные исторические эпохи. Знание этих смыслов представлялось в середине XX века своего рода *заменителем* знания о вечном смысле истории, вариантом истинностного знания, присущим истории и отражающим ее специфику как науки. Ведь, вообще говоря, это знание вроде бы независимо от историка и является проявлением объективной истины об истории. Такая стратегия исторического познания «от обратного» была свойственна той эпохе. Вспомним хотя бы «метод

<sup>1</sup> Гервинус Г. Г. Автобиография. М., 1895, с. 157.

<sup>2</sup> См. Koselleck R. *Futures Past. On the Semantics of Historical Time*. Cambridge — London, 1985.

фальсификации» К. Потере, позволяющий отличать научное знание от ненаучного в условиях отсутствия единого представления о научной истине<sup>3</sup>,

Положительными моментами этой стратегии были попытка преодолеть представление о человеке в истории как объекте исторического познания и стремление представить его как субъекта мысли и действия, которые в конце концов могут быть поняты историком в процессе герменевтического, т. е. истолковывающего, познания. При этом мировоззрение, ценности и идеалы человека в истории раскрываются как содержание особого рода текста. По логике историков школы французского исторического журнала «Анналы», исповедовавших эти взгляды, получалось, что если в XIX веке стремление историков к объективности привело к приписыванию ими на чисто субъективной основе определенного смысла истории, то теперь (с ростом внимания к субъективности человека в истории) у нас появляется реальная возможность приблизиться к объективной истине о его собственных представлениях об историческом времени, о смысле, приписываемом им истории,

Но эта наивная позиция оставалась непоколебленной лишь до 60-х годов XX века, когда появилась теория референциальной неопределенности американского логика У. Куайна, которая нанесла ей столь же тяжелый удар, как и теорема Геделя — истинностной гносеологии позитивизма и рационализма. Разрабатывая логику «естественного языка», Куайн поставил вопрос о его расплывчатости, неоднозначной связи символа и значения. В ситуации «радикального перевода», т. е. перевода текста, порожденного незнакомой культурой, это ведет к «неопределенности перевода» — ситуации, из которой переводчик может выйти лишь путем адаптации и модернизации текста. При этом разные системы перевода, обусловленные разными точками зрения переводчика (антикваристской, ориентированной на дословное воспроизведение текста, или же презентистской, стремящейся сделать текст наиболее понятным), выделяют в тексте разные пласты, соответствующие разным смысловым значениям. Куайн утверждает принцип «эмпирической эквивалентности» этих подходов и выявляемых при их помощи смыслов\*.

Теория Куайна, относящаяся к философии языка, имеет непосредственное отношение и к исторической герменевтике, в рамках которой культура и деятельность человека прошлого рассматриваются как текст, нуждающийся в переводе и прочтении, а процесс исторического познания — как диалог историка и человека в истории. На деле же оказывается, что историк «общается» не с человеком, а с теоретическим конструктом, познавательной моделью, в значительной мере бессознательно созданной им самим. Герменевтическая тактика «постановки вопросов» перед этим монстром оказывается в значительной степени скомпрометированной, а диалог историка и исторического субъекта оборачивается диалогом историка с элементами его собственного отражения и исторической реальности, как и в случае поиска «объективного смысла» истории. Степень объективности полученного знания принципиально невозможно определить. Ведь субъективность человека в истории, элементы которой зафиксированы в результате исследования, нельзя путем научной процедуры отделить от субъективности историка, проводившего это исследование.

Все это подрывает, разумеется, не статус герменевтической стратегии познания, а статус неопозитивистской трактовки полученного знания, стремление к выделению в ходе герменевтической процедуры строго верифицируемой объективной истины о предмете. Оказывается, что подобного рода верификация в процессе самого познания невозможна. Как писали еще историки-малогерманцы, верификационная процедура должна быть вынесена из процесса познания в область практики, где соперничают не отдельные взгляды на события истории или варианты исторических хронологий, а целостные модели истории со свойственными им способами препарирования исторических явлений и конструирования исторических фактов. При этом желательно, чтобы модель исторической реальности содержала не только совокупность подтверждающих ее исторических данных, но и анализ собственных предпосылок, позволяющих ей претендовать на общезначимость (впервые очередь философских или общекультурных, но также и неявных языковых предпосылок на уровне языка культуры или естественного языка). Только это, по мнению Куайна, позволит говорить если не о ее истинности, то о ее самодостаточности как модели.

Попытки построения подобного рода моделей неоднократно встречаются в рамках теории цивилизаций — в форме «идеальных типов» М. Вебера или «реальных типов» Н. Элиаса. Стратегия поиска «смысла» или «смыслов» истории при этом (не отбрасываясь) отчасти уступает свое место попперовской стратегии «придания смысла бессмысленному», сопряженной с осознанным и активным

<sup>3</sup> См. Зуев К. Существует ли смысл истории? (О философии истории К. Поппера). «Общественные науки и современность», 1994, № 5.

<sup>4</sup> См. Quine W. V. O. Pursuit of Truth. Cambridge, 1990.

воздействием историка на объект познания, который оказывается результатом методологически обоснованной процедуры конструирования.

Однако сами историки — авторы моделей исторического развития — делают в этом направлении лишь первые шаги. Гораздо дальше продвинулась историография, исследующая со стороны готовые исторические модели. В классической работе Х. Уайта «Метаистория» впервые произошел прорыв на уровень анализа языковых предпосылок исторического исследования. Развить этот подход, сделать его системным пытается в своей недавней книге немецкий историк Й. Рюзен, развивающий традицию Дройзена.<sup>5</sup> Систематически исследовать свои предпосылки на уровне языка и эмоций стремится зарождающаяся психоистория. Все это говорит о том, что история как наука способна существовать и развиваться без доминирования мифологемы «истины», преследуя в основном идеал «пользы», учитывая потребность людей в ориентировании во времени.

---

<sup>5</sup> См. White H. *Metahistory. The Historical Imagination in XIX-th century Europe*. Baltimore, 1973; Rusen J. *Lebendige Geschichte. Grundzuge einer Historik III. Formen und Funktionen des historischen Wissens*. Göttingen, 1989.

И. Ионов, 1995